

1.

...Море.

Вспомним теперь—о море.

Эти вечные всплески чаянья, эти выплески грусти в поисках долгожданного и надёжного, почему-то необходимого, неизвестно зачем пришедшего, от сторонних взглядов укрывшегося где-то рядом, вон там, наверно, убежища на земле.

Этот гул или грохот, эта, с отрешённостью в дружбе, усталость, это—в конце концов—нахлынувшее нежданно, застигнувшее врасплох, озадачившее, смутившее, вдохновившее на поступки, ну а может быть, и на подвиги, запоздалое понимание, словно вспышка молнии, вдруг прояснившая разом сознание, сквозь туман: я тоже стихия, да, представьте, и на земле мне, мятежному, делать нечего, посему простите, прощайте, в путь, вперёд, я само по себе.

Этот запах влажных ракушек и водорослей мохнатых, эти мидии, присосавшиеся к бутри-стому, ноздреватому подводному тёмному камню или, вынутые из створок загорелой до черноты, одичалой от жизни летней, слишком вольной для горожан, развесёлой оравой романтиков, грудой скользких моллюсков брошенные в кашу, пищу богов, готовящуюся, по традиции устоявшейся, разумеется, на огне, в бухтах, скрытых от глаз людских, среди скал, вдалеке от здешней примитивной цивилизации, где палатки, дубняк, следы талой дикой весенней воды на безмолвных склонах видны, словно давний привет с луны, Кара-Даг, остатки костров, разгулявшиеся гитары, эти мидии, с тусклым жемчугом, в них наросшим, и без него, запах моря, когда ныряешь за ними в маске, привычные, неустанные вдохи и выдохи.

Море.

Песня моя задушевная, бесконечная, как у татарина, обо всём совершенно, что видел, обо всём, что услышал, узнал.

Песня, пускай угасающая, затихающая постепенно, понемногу, так, чтоб звучать на просторе как можно дольше, чтобы жить, и не только в памяти, но и в области слуха, и даже в заколдованной области плача, как сказал однажды поэт, уходящая, разумеется, в никуда, но и в то же время не желающая исчезнуть и намеренная остаться вместе с нами, вот здесь, на этом берегу,

где стоим теперь мы и пытаемся слышать то, что раскроется в озаренье, и уже напрягаем зренье в постижение своём простом то ли музыки, в небесах запропавшей вдруг почему-то, чтобы ей потом появиться, чтобы нам на неё дивиться, то ли вытянутого вдаль и упругого, как спираль, непредвиденного пространства, песня, вроде бы нисходящая по наклонной, к нам нисходящая благодатью с высот, чтоб не было немоты, слепоты, глухоты, чтобы нам не пропасть во мраке, чтобы выйти сквозь ночь на свет, песня—чудо, песня—завет, песня—птица, песня—мечта, восходящая красота, песня—весть, чуть слышная, но продолжающаяся в грядущем, не теряющаяся сразу, словно резкая грань алмаза, разрезающая стекло вод, где к слову придёт число,—

как долгий след корабля почему-то всегда остаётся позади, остаётся, и всё тут, ничего не поделаешь с ним, есть как данность, как вероятность откровенья или забвенья, есть вдали, есть в любое мгновенье затянувшегося прощанья, как прощенье, как обещанье новых встреч и новых разлук, есть, как есть ведь на свете друг, есть как оклик, а может, вздох, есть как грань меж крутых эпох, и томит нераскрытой тайной, и прослеживается часами посреди беспокойных волн,—

вон туда он пошёл, корабль, вон туда он, смотрите, направился, вроде маленький, чуть заметный, или нет, конечно, большой.

А на земле в это время, в это же самое время, в те же часы и минуты, в те же мгновенья, тут же исчезающие, чтоб за ними выросли мгновенья новые, продолжаясь до бесконечности, всё возможно, всё вероятно, всё издревле материально, потому что известно, что время это—просто сама, запомните навсегда для себя, материя, так-то, братцы,—на берегу—варят кашу с привкусом дыма, жгут костры, отрешённо играют, как уж выйдет у них, на гитаре.

А в порту есть ещё и собратья вдаль ушедшего корабля—тоже смелые, тоже плавающие, тоже, стоит отметить, крепкие.

А в Москве, далеко, есть женщина одинокая и окно.

А вон там, наверху, есть мелко, дробно как-то, слишком извилисто, коренастым поросшая лесом, несгораемая гора.

И ходим-то мы — не забудьте об этом, друзья, — по вулкану.

Помнишь поездку в «газике», от Феодосии, кажется, нет, конечно же, от Керчи, солнцем выжженной, просоленной ветром с моря насквозь, донельзя, словно связка бычков сушёных, во дворах своих и на склонах Митридата, везде, повсюду разбросавшей щедрыми пригоршнями цветковые пятна и запахи, впрок, наверное, на потом, чтоб хватило на всех когда-нибудь их с избытком, до Феодосии, в самом конце скитальческого, переполненного событиями небывалыми, шалого, знакового, жаркого, звёздного августа, под дождём проливным, сто двадцать километров отчаянных в час, нас много, и мы сидим слишком тесно, вплотную друг к другу, пассажиры, и нам, разумеется, почему-то не по себе, страшновато нам иногда, прямо скажем, от гонки этой сквозь отвесные струи дождя, сквозь косматую мглу, сквозь вечер, назревающий постепенно вдалеке, в стороне, вперёд, может быть, и нам повезёт, как везло и прежде, бывало, дай-то Бог, а шофёр беззаботен?

Помнишь приезд стремительный в Коктебель, ожидание нового — мыслей, чувств, настроений, встреч, впечатлений разнообразных, — и надежду, наивную, робкую, наконец-то обильных луж: вдруг не высохнут никогда на здешней глинистой почве?

Атаки жаждущих крови человеческой комаров, тогда, в середине самой крылатых шестидесятых, ещё хорошее, всюду, на каждом шагу, вино, деньги, пускай и скромные, но всё-таки что-то да значившие тогда, с которыми просто и легко было нам расставаться, знакомых приветливых девушек, море после дождя?

Помнишь Ялту с её Испанией галерей, балконов, решёток и внезапных, как восклицания изумлённые, поворотов?

Помнишь закрывшие с севера светлый город рослые горы, хранящий тепло «воротник» на горле изнеженном юга?

Помнишь ночное купание, брезентовую палатку, приткнувшуюся так по-свойски, надолго, почти навсегда, под ветвями дикой маслины, словно пройдут немалые годы, покуда спохватятся наконец и её уберут?

Её свернут в неподатливый клубок, поплотнее скатают, понесут на плечах куда-то, насовсем, видать, увезут.

Их много было, таких, уютно всем дававших, палаток.

Море.

Зачем тебе надо, разом, незамедлительно, всколыхнуть эту сонную гладь, задеть эту плавкую твердь, закипающую смолою, когда ты и так — море?

Море.

Грот. Корабль вдалеке. Сон во сне. Следы на песке. Берег, вымытый добела. Запрокинутая скала.

Загорелые ноги. Взгляды сквозь ресницы густые. Август.

Море.

Я плачу неожиданно, выкинув сантименты, как труху табачную жёлтую из карманов потёртой куртки.

Я смеюсь, пробегаю вдруг напрямик, только вдоль прибора.

Что-то я нахожу, рассматриваю, приближая к своим прищуренным от палящего солнца зелёным и весьма ещё зорким глазам, — сердолик? халцедон? агат? — наклоняюсь порою к найденному, словно цепко, привычно прицениваюсь, наподобие антиквара.

Что-то бросаю, как скользкий, лёгонький, плоский голыш — вот он, взвившись дугою, пролетел над водой, ударился об неё, как обжёгшись, подпрыгнул высоко, пружинисто раз, ещё раз, может быть, как в цыганской песне старой — ещё много раз?

Море.

Где ближний причал — это причал настоящий, и к нему, неизменно, доверчиво, причаливают катера.

Море.

В котором уютно у берега дорогого — и ждётся его слишком уж долго на суше, вдали от него.

Я бушую, как ты, я смиряюсь, как и ты, я чего-то жду.

Всплески, выплески, накупь солёная шумной пены, отблески солнца.

Я пойду. Мне пора уже. Ладно?

Ждут меня павильоны летние, тенты, плещущие под ветром парусами, напитки шипучие, свет негаданно вспыхнувших фар, тень ветвей, узорное марево, зазеркальное действие, лёгкое и прохладное, виноградное, замечательное вино, сама прохлада с её трогательной заботливостью об обожжённом, пылающем, ярком; ждёт меня влажный, тёмный, мягкий асфальт, в который накрепко въелись петляющие следы автомобильных шин, и эта рубчатка чёткая то и дело напоминает, отдалённо пускай, не важно, то плавник океанской рыбы, то изгиб черноморской волны, то замедленный, утихающий, словно после жаркого спора, след раскатистого прибора; если вздумаешь вдруг шагнуть безоглядно в ночную воду, побредёшь по ней и почувешь и прохладу, и доброту.

Эта дружба, давняя, крепкая.

Эта, видно, врождённая тяга — к тайне, сказке, легенде, притче, в мир мечты, к истокам чудес.

Потереть меж пальцев листок лавра, густого, пахучего, или ореха грецкого, или снежинчатый, лёгонький тёмно-зелёный кусочек рвущейся к небу сени сонного кипариса — тоже напоминание, может быть — о звезде, может быть — о зиме, что не страшна растениям, или же о волне, плещущей отрёпённо где-то внизу, где звук с эхом своим

играет в прятки в который уж раз, не уставая при этом беседу вести со светом, белым, по всем приметам, нужным для наших глаз, —

вдохнуть потаённый жар окон, распахнутых настезь, увидеть, пусть и случайно, в них счастливых влюблённых, —

запах бензина, резкий, как нашатырь, переполненные урны, афиши, концертные, театральные, чьи-то гастролы, бенефисы, спектакли, пёстрая лицейская карнавальная жизнь, без масок и в масках, с оркестрами, поднимающими свои золотые трубы, подобно в небесах таинственных сорванным, голосистым, росистым цветам, прижимающими свои хрупкотелые скрипки к щетинистым или выбритым подбородкам, словно сгустки мечтаний давних о неведомом и манящем тихой музыкой вдалеке, молчаливые телефоны-автоматы, крутые склоны, закоулки, билет в руке, набережная, как тысяча и одна, вроде сказок восточных, причудливо разукрашенных, узорчатых, пряничных, ярких, юрких или скользящих неторопливо лодок, переполненных людом праздным, где-нибудь, положим — в Венеции,

звонки телефонные, редкие, — в северную Мо-скву,

сжавшиеся в тугие опахала, от влажной ночи субтропической одуревшие, лунатически бледные пальмы, осторонь от бесконечных, неутомонных толп, россыпей, групп, компаний приезжих людей, гуляющих, без учёта места и времени, где им взду-мается и когда им захочется, расписание полустёр-тое междугородних или рейсовых местных авто-бусов, бумажных стаканчиков брошенных шорох, пустые бутылки по углам, в основном из-под пива,

туфельки на каблучках-гвоздиках, быстрый, вкрадчивый, с лукавинкой, с укоризной, с досадой, призывный след стройной, загаром тронутой бе-режно женской ножки, юбки, мазки акварельные, лепестки цветочные пёстрые, легко, дразняще взле-тающие вверх от порывов охочего до неги ночного тёплого сумасбродного ветерка, друга неутомон-ного, ревнивого до невозможности, щедрого неве-роятно, любвеобильного, южного, привязчивого кавалера, костюмы, на ком-то, строгие зачем-то, воздушные, пышные, кружевные летние платья,

просто рубахи, светлые, под которыми — про-сто горячее, желанием распалённое, молодое свежее тело,

ночные, в смолисто-чёрной, с отражениями огней золотистыми, с плеском дремотным, при-брежной воде, купания,

принесённый кем-то кому-то когда-то зачем-то букет, восхитительные в роскошестве своём пун-цовые розы,

какой-то, кому-нибудь, видно, достойному или так, по-советски, случайно, памятник, подобие площади, крохотной, не больше ладони, внезап-ный поворот, ещё поворот,

ресторан с остывающей кухней, со столиком, на котором осталась никем не убранная соломинка с капелькой кем-то недопитого, розоватого, слад-коватого, липкого пунша,

покачивающийся плавно, монотонно туда-сюда, осевший на время какое-то, ненадолго совсем, в порту, симпатичный белый кораблик, зачем-то куда-то, наверное, от назойливых глаз людских, убравший своё оперение, называемое почему-то подводными, да, представьте, удивляясь, именно так, и никак не иначе, крыльями,

то тишина сплошная, призрачная, резная, то всеобщая, бурная, с перебором, сплошная музыка, рулады аллей протяжные, подъём, неизвестно куда, спуск, непонятно, зачем, почему, высокая лестница,

ещё, ещё и ещё, —

где ты, скажи мне, теперь? —

стоишь где-нибудь, подальше ли от чудес, по-ближе ли к ним, взволнованно, шумно дышишь, глядишь на них, изумляясь всему, что собрано в них воедино в энергетический, ностальгиче-ский, элегический сгусток, в некий волшебный шар, переполненный светом астральным, в мир, который не станет опальным, ходишь, может быть, пристально, цепко, чтоб оставить всё на потом, сохранить обязательно в памяти, всматриваешься в круг магический, в сердцевину видения, в самую глубь наваждения, в то, что за гранью, в то, чему не грозит сторанье, в чём горенье не смогут льдом погубить, в чём твой тайный дом.

Неподражаемый, жалобный, выживший из упрямыства, вышедший из пространства, вынес-ший постоянство радости сквозь невзгоды, вест-ник смены погоды, радужный перелив целебного чистого света,

запах, ещё, и потом ещё, узнаваемый запах,

тут — почти уже примирившегося с застыва-нием скорым осенним, с пустотой бесстыдной и с инеем на газонах и клумбах, асфальта,

там — то ли чуть подгоревшего сочного шашлы-ка, то ли кипящего в масле караимского пирожка, а здесь вот — всеядный, всеобщий, просто вин-ный, и всё этим сказано, всё тут ясно без лишних слов, это мы хорошо понимаем,

а вон там, да, чуть в стороне, подальше от суеты, поближе к вратам небес и сводам простора, — запах пропитанных влагою свай, чуть подольше, чем все остальные, протяжённее, чтобы вдохнуть поглубже, чтоб тут же запомнить,

а потом, ну подумать ведь только, и представить нельзя такое, но, пожалуйста, приготовься, это надо же, вновь поворот,

она или ты — или вместе, в два голоса, одно-временно, растерянно, изумлённо, взволнованно, радостно, — здравствуйте! —

разлитая всюду, безбрежно, безудержно, широ-ко, так, что нет ей пределов, нежность, так щедро,

так бескорыстно, что нет ей возраста, нет увядания, настоящая, словно жизнь, и судьба, и песня, и речь, и весь этот рай земной,— и нельзя поскромнее, и спокойнее тоже нельзя,— ласкать, обнимать, целовать, и, в который уж раз, удивляться.

А там— не забыли ведь мы о нём— разумеется, море,

вон там, за этим нависшим над бездною паплетом, за этой полоской условной камня или бетона,—

оно примирилось, возможно, сейчас неизвестно с чем, но кто его знает, как поведёт себя чуть погода.

Луна, в эмпириях витающая, огромная, в три обхвата.

Звёзды, величиной с теннисный мячик. Может, несколько меньше, с шарик для пинг-понга? Нет, нет, побольше. Большие. Совсем большие. Как выросшие незаметно дети, ставшие взрослыми. Как людские порою дела.

Усталые, накурившиеся до тошноты, до одури папирос или сигарет, подвыпившие или трезвые, кто с проигрышем, кто с выигрышем, кто с досадою на себя, кто с мечтами о крупном везении, рассеянно что-то бормочущие, на мир удивлённо взирающие, неизвестно чего желающие, расходившиеся по домам, азартные бильярдисты.

Да мало ли кто ещё уходит или приходит куда-то? Да мало ли что в округе теперь происходит?

Не всё ли равно мне, где роение прекратится? К солёной бредя воде, всё, видимо, возродится.

И вспомнится— лишь родное.

Здесь оно, море, со мною.

2.

...Мы поехали в Крым, поехали в Крым— зимой!

Мы поехали в Крым— на юг, оказались— во сне ли, в сказке ли, но уж точно— не там, где должно было солнце греть и цветы в тепле распускаться и благоухать,— нет, конечно— в раю, конечно— в благодатном краю, и всё же— в непривычной среде, где, кроме солнца, моря, тепла и света, здесь присутствовал всюду— снег.

Снег— в горах и на перевалах, на дорогах и на тропинках, на скамейках, на крышах, на листьях жёстких, сухо хрустящих пальм, снег— совсем не холодный, влажный, кратковременный, рыхловатый, залетевший сюда случайно, понимающий, что растает, обречённый, но всё же— снег.

Но над снегом— сияло солнце.

Ну а с ним— приходило тепло.

Весь Южный берег Крыма дивился такой вот двойственности: сочетанию здесь, у моря, в дни февральские, вроде бы холода, но за холодом— и тепла.

Сияли, слепили глаза нестерпимой своей белизной, ещё более резкой, пронзительной на фоне голубоватого, с уносимыми в разные стороны

налетавшим внезапно ветром клочковатыми облаками, наподобие купола вставшего над горами, над морем, над городом, широко вокруг расплывшегося, вольготно вверху раскинувшегося, бездонного, глубочайшего, холодного зимнего неба,— высокие, вроде конусов, пирамид, готических башен, то со сложенными, то с уластными, причудливо, словно по прихоти незримого властного мастера, создателя невероятной природной архитектуры, изломанными очертаниями, недоступные, отдалённые от моря и от людей, как-то слишком уж обособленно существующие, независимые, долговечные и привычные человеческому взгляду вершины.

Много выпало снега в горах. Вот поэтому, видно, и шли, устремляясь туда, вперёд, вверх, всё выше и выше, в горы, кто— весёлыми шумными стайками, кто— привычно поодиночке, кто— счастливыми дружными парами, кто— большими, с песнями, шутками и раскатистым смехом, компаниями, шли и ехали все, стараясь поскорее добраться до нужных, хорошо им известных мест, люди разного, от молодого до вполне почтенного, возраста, симпатичные, бодрые, свежие, с настроением явно приподнятым, в спортивных костюмах и шапочках, с лыжами в крепких руках, спешили, все вместе, в горы— чтобы там покататься на лыжах. А оттуда, с гор, возвращались вниз уже предостаточно, вдосталь накатавшиеся на лыжах и крымчане, местные жители, и приезжие, здесь, по традиции, отдыхающие зимой.

И это была— Ялта.

И это был— город у моря.

Колоритный, южный, просторный, ставший зимним на время порт. Загорающийся вечерами, как цветок небывалый, маяк. Молчаливым ответом дремлющий на вопросы стихии мол. Опустевшие, тихие пирсы. И, конечно же,— белые чайки, всюду— чайки, кричащие чайки, обязательно, непременно— неизменные белые чайки. И, само собой,— корабли. И дома. И витрины. И набережная. И деревья на ней. И— парки, все, с уступами, и террасами, и аллеями, и беседками, и растениями, и лестницами. И— всё выше и выше, в гору, влево, вправо, широкими ярусами, бесконечным амфитеатром, сном, виденьем, раденьем,— город.

Зимний шторм гулял по разбухшему, потемневшему, беспокойному, всё— брожение, бурление, властное, роковое, крутое,— морю.

Огромные сильные волны ударялись с размаху о берег, вставали витыми, извилистыми, пружицистыми столбами, переплёскивались через набережную, бились в мокрые стёкла витрин магазинов, хлестали по окнам, обрушивались на асфальт, растекаясь потоками быстрыми по нему, шипя, клокоча, завихряясь, вращаясь и пенясь.

В воздухе, полном влаги, стоял неустанный, ровный, грозный, тревожный гул.

Налетающий ветер гнул и раскачивал кроны деревьев.

Люди же между тем жили своей, приморской, крымской, средьзимней жизнью, ни о чём таком, что могло бы потревожить их, не волнуясь, ни о чём таком, что могло бы испугать их, не беспокоясь: ну подумаешь, страсти-мордасти! — ничего не случилось особенного, и всего-то-навсего — шторм.

Но для нас это было — в диковину.

Мы бродили вдвоём с женой, зачарованные, по набережной, неотрывно глядя на море.

Я однажды рискнул, спустился чуть пониже, поближе к воде, — и едва успел отскочить, а потом побежал оттуда сломя голову, тем и спасся: миг ещё — и был бы накрыт ледяным солёным потоком взмывшей вверх и метнувшейся вниз черноморской февральской волны.

Получилось вдруг, поневоле, небольшое, но всё же опасное, раз уж правде смотреть в глаза, непредвиденное приключение.

Волна огромная всё-таки успела забрызгать меня, но я, храбрясь, разумеется, держась молодцом и дивуясь разгулу стихии, старался просто не обращать по-геройски на это внимания.

Ялта была, по сравнению с летом, почти безлюдной. Редкие отдыхающие слонялись по мокрой набережной, сидели в открытых зимой недорогих кафе. Те, кто имел такую возможность, шли в рестораны. Оттуда наружу, к нам, вырывалась громкая музыка. И она мне тоже казалась какой-то слишком уж зимней, обособленной, существующей в эту холодную пору года как-то по-новому, отдельно от всех и всего, так что вполне можно сказать о ней или хотя бы исподволь просто подумать: живёт сама по себе.

Жила сама по себе — как привыкла зимой — и Ялта: внутренней жизнью своей, от нас и не только от нас до поры до времени скрытой — там, под покровом — снега ли, неба ли, может — и вечера, ну а за вечером — ночи, вся — в ожиданье тепла.

Потом была — тоже зимняя — Алупка, с её пустынным парком, прибрежными скалами и Воронцовским дворцом. Был Мисхор. Ореанда. Ливадия. Был Гурзуф. И потом — шоссе. И — заснеженный Симферополь. Был вокзал. И знакомый поезд. И покачиванье вагона. И зима за мутными окнами. И дорога, когда так ясно начинаю я мыслить, чувствовать. И стихи, записать которые лень порою сквозь полудрёму-полуявь. И огни степные. Возвращение — в Кривой Рог. Ну, приехали. Так скорее — в дом родительский. Там — гнездовье. Там — уют, и покой, и воля. Там тепло. Там светло. Там — творчество. А потом уж будет — Москва...

3.

...Мы поехали в Крым, поехали в Крым — летом.

Из Кривого Рога, на поезде, мы с женою моей Наташей, ну а с нами чудесный отец мой, да ещё

и младший мой брат, приехали в Симферополь, пересели на электричку — и вот мы уже в Севастополе.

Город морской. Бухты. Военные корабли.

По-гречески — город Славы.

Мы бродили по улицам, праздничным, нам казалось, прибрежным, гриновским, зурбаганским, пахнущим плещущимся где-то рядом, поблизости, морем,

вдоль цветов, на балконах, на клумбах, и в руках загорелых женских, и в садах, и в парках, и в скверах, всюду, где бы тогда мы ни шли,

вдоль деревьев, повсюду растущих и шумящих резною листвою, тополей, воздушных акаций и каштанов, под ветром свежим,

вдоль прерывистой и непрерывной, синкопической, как и мелодии из окошек раскрытых, зелени, всех тонов и оттенков любимых,

от лёгкой, чуть желтоватой, прозрачной, до изумрудной, густой, с отливом лиловым, с налётом сквозных теней,

вдоль светлых домов, построенных из инкерманского камня, со стенами, солнцем нагретыми, нарядных, стройных домов.

Мы были на Графской пристани и на известных бульварах — Приморском и Историческом, стояли на Пушкинской площади у памятника поэту, о котором сказано было «наше всё» или «солнце», Пушкину, а в сквере, среди щибета птичьего и шелеста листьев под ветром, налетающим с моря, свежим и живым, на проспекте Героев Севастополя, мы стояли у памятника отважному матросу Петру Кошке.

Поднимались мы на Малахов курган — место двух кровавых сражений.

Из моря, из волн, установленная на прочном каменном цоколе, свечой вставала высокая колонна белая — памятник Затопленным кораблям.

Видели мы в музее обороны и освобождения Севастополя панораму впечатляющую, «Оборона Севастополя», и диораму, вслед за ней, «Штурм Сапун-горы».

Мы посетили, конечно, музей Черноморского флота и, на проспекте Нахимова, картинную галерею.

Видели мы, разумеется, и аквариум знаменитый, волшебное царство морское на тенистом Приморском бульваре.

Берег, изрезанный длинными глубоководными бухтами, притягивал нас к себе отовсюду, он звал к себе — и на зов этот невозможно не откликнуться было нам, — он, единственный в мире, светлый, благородный, сухой, подтянутый по-военному, говорил на морском языке — пространства и звучащего второй ему, неизменно молодцоватого

и давно уж седого времени, говорил о том, что возможно в единении двух стихий— и морской, и воздушной,— чудо— на земле каменистой— славы, чудо чести и чудо гордости, чудо радости и добра.

А над морем кричали чайки и летали под синим небом.

И повсюду ходили люди, загорелые и красивые.

И листва шумела под ветром, прилетающим в город с моря.

И звучала из окон— музыка. И светло здесь было— всегда.

А потом оказались мы в Херсонесе, античном городе, и бродили там по раскопкам среди стен городских, и башен, и ворот, и руин античного— вот бы ожил он вдруг— театра, и вздымались к небу колонны— беломраморные, конечно, и порой прислонялся я к ним, да вот так и стоял, задумавшись, ощущая хребтом своим тёплое, благодатное прикосновение всей распахнутой взгляду, выжившей, просветляющей старины.

Мы купались там— и вода тоже тёплой была, прозрачной, и солёной, сине-зелёной, и мерцала под солнцем, плавилась, и струилась, и лёгкими бликами рассыпалась, и вновь собиралась— не вдали, так хотя бы в горсти.

Мы снимались там вместе— на память.

И потом, через несколько лет, криворожской ненастной осенью, в отчем доме, всегда спасительном, в одиночестве затянувшемся, весь как есть в нахлынувшем творчестве, эти снимки я вспоминал.

В Херсонесе, где много колонн поднимаются с разных сторон там, где моря кайма, зеленея, порывается вспыхнуть сильнее и отчаянно выгнутый берег принимает раскопок ковчег, не дождалась мы, к счастью, ночлега, точно песни в груди печенег. Город был наперёд разогрет, севастопольский замкнутый рейд кораблями играл по старинке, да вертелась в окошке пластинка— и туманная дума басов надвигала на вечер засов, чтобы ехать да ехать без края, по привычке себя укоряя, в умиленном чаду угорев. И запомнили мы, постарев, фотографий заполненный глянec, восходящего горя румянец, безмятежного счастья провал, словно вписано это в овал круговую порукой пространства,— и забыли своё постоянство. Мне не ведать теперь и не знать, что же может ещё ускользать изошрённой тропинкою горной,— мне не холодно в жизни просторной— и, как смотрит часы часовщик, я увижу рождавшийся крик, шевелящийся сызмальства в пене,— и предвижу я только ступени да стремящийся лестничный шквал, где струящийся голод пропал, заплутал под луною в июле,— ковыли не шумят потому ли, что не к спеху уж макам цвести, если можно себя обрести,

словно случай дорожный, украдкой,— и деревья при всём беспорядке не желают беседы вести, и оплавленный камень в горсти— словно тёплый кусочек сиротства, и немисливо пьёт превосходство беспримерную чашу судьбы там, где бреду пора до борьбы дотянуться ладонью невольно. А пока что— довольно, довольно оголтелых, как басни, гостей, заплутавших в пылу новостей, фотографий увидевших тягость и змеящейся нови двоякость, словно есть в черноте негатива прозревание миру на диво, словно где-то кому-то фотограф не оставил спасенья автограф— и замедлили шаг произвольно те, кто делали слишком уж больно и себе, и другим,— а вокруг паруса разворачивал юг, проверял запрещённые свитки,— и возможности были в избытке, и будила, как эхо, угроза, и цвели сердолики и роза, и любовь, понимая влюблённых, сторонилась заслуг посторонних, ибо в сказке конец так конец,— на примере разбитых сердец научились мы жить, не ревнуя,— но кого же зову да зову я? То-то чайки, крича нарахват, обрываются гроздьями спелыми в Херсонесе, где люди не спят, в Херсонесе с колоннами белыми.

Как ни радостно, как ни грустно, как ни горестно— так всё и было.

Как ни больно, как ни привычно вспоминать мне— так всё и есть.

Мы выбрались из Севастополя— по весьма крутому, извилистому, за петлю петля, подъёму— на ялтинскую дорогу, проходящую поначалу по Сапун-горе, возвышающейся над заполненной виноградниками до краёв Балаклавской долиной.

На юге, у всем известной— по очеркам Куприна, тогда недоступной, закрытой для туристов, поскольку там, в бутылкообразной бухте, стояли подводные лодки, дразнящей воображение греческой Балаклавы, начиналась, вздымаясь всё круче, нарастая всё выше, выше, наливаясь мощью немалой и значительной крутизною, привольная, дикая, цельная, органом звучащая главная гряда, визитная карточка пленительных Крымских гор.

В Байдарах— в селе Орлином— посреди просторной долины— можно было остановиться и отправиться на экскурсию в сталактитовую пещеру, находящуюся километрах в десяти, у села Родниковского, но решили мы не останавливаться, а ехать всё дальше, в Ялту.

И где-то внизу остались— Ласпинский дивный залив, с трёх сторон окружённый горами, и самая южная часть европейской части Союза— мыс Сарыч, с его маяком, и мыс Айя, прикрывший своими вертикально стоящими скалами невидимый Батилиман.

Байдарская долина всё сужалась, как будто бы ладонями сжимая дорогу, становясь теперь ущельем.

И—вот они, Байдарские ворота!—внушительная каменная арка. Ворота, за которыми—весь Южный, неизъяснимо нежный берег Крыма, субтропики диковинные, Ялта. А что за Ялтой? Тоже чудеса!

На отвесной скале—площадка. Вид с площадки—на побережье. Чуть поодаль—церковь, подобие византийской. С площадки—спуск, вниз, всё ниже, крутой, петлистый.

На востоке—Форос и Мелас.

Алексей Константинович Толстой жил когда-то в Меласе—вспомнятся не однажды нам его «Крымские эскизы». В них—всё уже сказано. И—нитью незримо связано с грядущими временами.

Над Снитковским, бывшей Мухалаткой,—Чёртова—название-то какое—лестница, длиннющая, крутая,—нет похожих в мире,—перевал древний через Главную гряду.

Почти километр—всё вверх, со ступенями—для исполинов.

Здесь тавры поднимались на яйлу.

А в прошлом веке—шёл в Бахчисарай, «держа за хвост татарских лошадей», наш гений, «наше всё», весёлый Пушкин,—в таком же точно возрасте, как я—в уже далёком шестидесяти седьмом.

Бывают ведь такие совпадения!

Потом—Кастрополь, со скалой Ифигении, встарь ставшей жрицею в стоявшем здесь, над морем, с его просторами седыми, таврском храме богини Девы, в рокоте валов, и в кипении воздушной облаков, и в синеве оставшемся доселе—как эхо или дивное виденье,—чтоб там, в грядущем, помнили о нём.

А потом—Симеиз. Парадиз?

Бирюза открытой горами от ветров симпатичной бухты.

Горы: с севера—вот он, Ат-Баш—Лошадиная голова, ну а с запада—вот она, Кошка.

На одном конце бухты-подковы—мыс Ай-Панда, а на другом—примечательная скала с характерным именем—Дива.

Парки. Вечнозелёные всплески на толпящихся в тесном пространстве между небом и морем склонах.

Остатки внушительной с виду крепости средневековой—и совсем уже древнего таврского поселения, коренного, да ещё и могильники таврские, с чередой каменных ящиков.

А поближе к высотам вселенским—знаменитая обсерватория, со своими, для всех таинственными,

разумеется, звездочётами,—хорошо им, небось, учёным, наблюдать небеса в Тавриде—здесь особенно ясные звёзды.

На прощанье, из бирюзы, густо смешанной с праздной зеленью, помахал нам утёс Лебедино Крыло, то ли женской ладонью, то ли в самом деле—крылом.

И мы поехали дальше.

Вот Алупка, с дворцом и парком.

Дворец, плод фантазий англичанина Блэра, создателя фасада Букингемского королевского дворца и шотландского замка автора «Айвенго» и «Роба Роя» сэра Вальтера Скотта, диковинное соединение несоединимых, казалось бы, стилей, архитектурный винегрет, коктейль, в котором смешались все четыре стороны света, Индия и Мавритания, замковое Средневековье и заря островного британского Ренессанса, разнородная каша-малаша, почему-то, на удивление всем, стянутая в единый прочный—не развязать, не разрубить!—узел, серовато-зеленоватая диоритовая, вроде бы призрачная, но и отчётливо материальная, гамма, прозвучавшая некогда в мозгу зодчего, вспыхнувшая в сознании—или, скорее всего, в подсознании, преображённая воображением—и вдруг ставшая музыкой, воплощённой в материале, в тесном камне, обретшая чудаковатую, на первый взгляд, но несомненную, на все остальные взгляды, на многие годы вперёд, гармонию,—нет, не просто гармонию, с её мелодией и сопровождением,—подлинную, уверен, сложную полифонию, многоголосие, где властвует контрапункт, магическое обаяние, гипнотическое воздействие сразу нескольких тем,—потому что сразу сросся дворец с пейзажем, да так и остался здесь на долгие времена, возникший вдруг, по наитию, явившийся и озаренье, из сказки или преданья,—стоять и звучать в пространстве.

И—надо же!—по чутью—и чудо, и волшебство.

И—отзвук праздника давнего.

И—таинство. И—постоянство.

И—то «чуть-чуть», без которого вообще не бывает искусства.

И—верно взятый, для Крыма, для Южного берега крымского,—единственно верный тон.

Сновидение или явь?

Пограничное состояние—между недавним сном и негадным пробуждением?

Сопоставление странностей?

Соединение граней?

Может—парад оркестров?

Или—парад планет?

Что же? А кто его знает!

Но только создание это, но только видение это—вздыхающееся, звенящее—и поныне со мной.

Да, было и такое. И осталось. В душе. Чтоб вспоминаться иногда. Чтоб улыбаться молодости нынче, покачивая грустно головой седеющей. Романтика. И с нею—крылатое, пленительное время. Распахнутость и праздничность пространства. И—целостность увиденного мира. Его разъятость. Вглядыванье—вглубь. Чтоб взгляд был—слухом, слух был—взглядом. Тяга—к единству, к сути, к синтезу всего, что есть искусство. Слово—за тобою. И ты входил в свой каждый день как в сад, заполненный рассветным птичьим пеньем и трепетом разбуженной листвы. И ты считал свой каждый час то чудом, то волшебством. И каждый миг свой—знаком, конечно—свыше,—всюду сознавал, где б ни был ты. И творчеством всегдашним ты жив и столько лет уже спасаем—в пути юдольном, в мире непростом.

Но что же—всё же—грань? И что—предгранье? И что же там, за гранью? Ты не знаешь. Но—выразишь, своей ведомый речью. Как прежде. По наитию, по чутью. И это будет—подлинное знанье. С ним заодно—прозренье, постижение. Одно оно не ведаёт старенья. Всегда за ним—Вселенной свет встаёт.

И в том, что пишешь ты, и в том, что создаёшь,—за словом, перед словом, в каждом слове, в звучанье слова, в начертанье слова,—есть вещество. Какое? Чую: плазма. Связующая Землю и светила энергия—из разных измерений. Пространства зренье в ней и слух творенья. Времени соединительная ткань.

Вновь говорю я—самому себе. С душой своей беседую. Сегодня? В других ли—столько раз—существованьях? В едином ли—всеобщем бытии?

Есть—речь. Энергия. Она—для созиданья. Она—Вселенной часть. И дух в неё—вселён. Она—материя. В ней—имя пониманья. Она—миров извечное звучанье. В ней—ключ к душе. В ней—клич. Но—не молчанье. В ней—вещий сон. И—яви назреванье. Так что же прозревал я—там, за гранью, в раю былом—грядущим просветлён?..

...Мы поехали дальше, к Ялте.

Позади осталась Алупка—со своими прудами, парком, бухтой, «Хаосом» и дворцом, со своими аллеями, скалами, со своей Крестовой горой.

Поднимался слева—Ай-Петри.

Впереди начинался—Мисхор.

А за ним—Кореиз и Гаспра.

Зелень парков. Пруды. Фонтаны. В мавританском стиле—дворцы.

Справа, в море,—мыс Ай-Тодор.

И на нём, над крутым обрывом,—рукотворная дерзость, прихоть чья-то—«Ласточкино гнездо».

Дерзость? Прихоть? Бывает всякое. Отношение к ним—двойное. Но скорее всего—вдохновение. Или—явленное откровение.

Ну а «Ласточкино гнездо»—всё на том же месте, над морем.

Рядом с ним был когда-то римский укреплённый лагерь Харакс, от которого нынче остались лишь развалины малозаметные на мысу, на северных склонах,—там ещё сохранились таврские, циклопической кладки, стены.

И рожет внизу прибой, и кричат над утёсом чайки.

Как-то сам по себе, незаметно, так что сразу и не поймёшь почему, отодвинулся вправо, вглубь, и вниз и остался там—полумесяцем, быстро мелькнувшим над водой,—Золотой пляж.

И над ним—санаторий, в котором был когда-то и я. Столько с ним было связано, что осталось только вспомнить об этом снова—да вздохнуть, да рукой взмахнуть—в знак приветствия и прощанья—моему золотому былому.

Две дороги тянулись к Ялте. Можно было ехать—по Верхней, можно было—по Нижней. Обе шли вдоль гор, вдоль моря, среди парков, среди сплошных—чередою—здравниц, стен зубчатых, колонн и кровель, арок, лестниц, террас, балюстрад, среди зелени тисов, сосен и самшитовых, плотных, стриженных—пирамидами и шарами, геометрии этой не сдавшихся и разросшихся, стойких кустов.

Впереди была—Ореанда.

Водоёмы, дворцы и скалы, вековые деревья в парках. Чаша, полная свежей листвы.

А за нею была—Ливадия.

Отзвук жизни дворцовой. Сказка—о таком, что могло бы сбыться—да, видать, не судьба,—не сбылось.

А потом начиналась—Ялта.

Ялта. «Ялос»—по-гречески—«берег».

Древний город. Ялита? Джалита?

Берег—сыздавна обжитой.

Горы. Порт. Небеса. Это—Ялта.

(Это здесь мы были зимою—в феврале, в шестьдесят шестом. И осталась—память об этом. И вернулось воспоминанье—вместе с многим другим—нежданно—и, конечно, закономерно, грозно, властно, шесть лет спустя.

Виденье. Сон—в осенней мгле.

Когда-то в Ялте, в феврале.

Просту говоря—музыка и разлука.

Всё это, брат, не зря.

Грусть. Возвращенье звука.)

Был—Никитский ботанический сад. На него— хотя бы исподволь—взгляд.

По дороге—краем глаза взглянув—мимо, мимо. Поворот на Гурзуф.

Гурзуф был тем, чем должен быть Гурзуф.

С востока был он замкнут Аю-Дагом.

Торчали в море скалы Адалары.

И на семь вёрст вдоль берега привольно раскинулся прославленный «Артек».

А крепость Горзувиты, что когда-то, по приказанию Юстиниана, была воздвигнута над морем, на скале,—давным-давно разрушена. Остались от прежних лет, от славы византийской,—одни развалины.

Тверской купец и путешественник известный, Афанасий Никитин, здесь однажды побывал—и написал в своём «Хождении за три моря»: «И занесло нас в Балакое, а отсюда в Ткюрзуфу—и стояли тут пять дней...»

И я здесь не однажды побывал, а многожды,—и мил мне берег этот, и небеса его, и кипарисы, и улочки, и плеск волны морской.

За Аю-Дагом—древний Партенит.

Монастыри здесь раньше возвышались. Духовности здесь было средоточье. Святые крымские здесь обитали встарь.

Да что теперь от старины осталось? Одно лишь имя. Слово: Партенит.

А впрочем—как сказать! Есть имя. Слово. Глядишь—и оживут ещё они!

Потом была—Алушта. Алустон—при византийцах. Две щербатых башни и стены крепостные—сохранились.

Ни византийцев нет, ни генуэзцев, ни крымских готов, ни татар, ни турок, нет никого,—и есть они, поскольку бесследно, просто так, не исчезает никто с земли, особенно—в Тавриде.

Мицкевич здесь писал свои сонеты.

И горы—Демерджи и Чатыр-Даг—над городом по-прежнему вздымают свои вершины. Дальний водопад, по имени Джур-Джур, журчит как прежде и плещется привычно на приволье, в верховьях пенистой реки Улу-Узень, в ущелье, высоко, под облаками.

А нам—стоять на городском холме и наблюдать за этими же, к морю плывущими, сквозными облаками.

А нам—смотреть, как плещется вода, у берега, меж сваями причала, выплещиваясь к людям, прямо в лето, как старые Мицкевича сонеты:

одна волна—сонет «Алушта ночью»,

другая же—сонет «Алушта днём».

И мы уехали—к востоку, на Судак.

Проехали Рыбачье и Морское.

Чабан-Куле—сторожевая башня—Пастушья башня, в небе загустев, опять напомнив нам о генуэзцах, осколком древности торчала на холме.

Судак. Сугдея и Солдайя. Сурож.

О нём—в былинах, в «Слове о Полку».

Мы были в крепости. Её двенадцать башен, и цитадель, и стены, стены, стены, и Девичья таинственная башня—чуть осторонь, поодаль, на скале,—такая летопись, которой равных нет нигде в Европе. Жаркая долина. Залив, который Хлебников однажды, живя здесь, из упрямства переплыл. Песчаный пляж. И—вдосталь винограда. Простор—от Меганомы до Ай-Петри.

И—Новый Свет, вон там, неподалёку. Шампанское. Реликтовые сосны. Имение Голицыных. Похоже на рай. Но этот рай—не для меня.

И мы уехали—туда, за Меганомой, за горы дикие, с их низкими лесами, сплетеньями корней, ветвей и трав, обрывами и склонами крутыми, вершинами, замшелыми камнями, с их отрешённостью от суеты, пустынностью сухой, подслеповатой, с их стойкостью и верностью—покою и воле—сквозь сумбур тысячелетий, с их почвою, тоскующей о влаге, с их небом птичьим, с грозным их величием, с их сердцем человеческим,—в Коктебель.

Мы жили в Коктебеле. Но об этом ещё скажу я—как-нибудь потом...

4.

...Весть была—о Тавриде. О Крыме.

Весть—оттуда, из прожитых лет, ставших с возрастом впрямь дорогими, из которых—дыханье и свет—над судьбой, над словами благими, над пространством в серебряном дыме.

Имя времени. Сны ли о Крыме?

Явь ли с правью?—Лишь ветер в ответ.

— Вот оно, вот, начинается.

Начинается—и звучит.

Возвращается—и живёт.

Возвращается, исподволь движется.

Ближе, ближе. Уже вплотную.

Обращаясь—небось, ко мне.

Возвышаясь—и расстилаясь.

Разворачиваясь, лучась.

Продолжаясь—всё дальше и дальше.

В глубь цветущую, в гущу сквозную.

Вниз—и ввысь. И опять: вниз—и ввысь.

Растворяясь в мареве. Тая.

Проявляясь—рядом. Вблизи.

Так, что ближе уже нельзя.

Разветвляясь и умножаясь.

Провожая—чтоб встретить вновь.

И встречая—чтоб не расстаться.

Что за диво? Богиня Дева.
Царство света. Страна тепла.
Тавры, скифы, сарматы, готы.
Киммерийцы. Ну кто—ещё?
Все здесь жили—и все здесь пели.
Все—оставить свой след успели.
Что за имя, скажи, у моря?
Помнишь—Русским оно звалось?
Всё осталось как есть. Всё—живо.
Все привады и все порывы.
Здравствуй, Дева! Твоё ли диво?
Ну теперь-то уж—началось!

Южный берег. Понизу—роскошь.
Всюду—щедрость. С избытком даже.
Где амброзия? Черпай ложкой!
Дрожь проймёт на пороге блажи.
Дождь пройдёт—и цветы встряхнутся.
Оживут и засвищут птицы.
Все ушедшие встарь—вернутся.
И откроются все границы.

Растений—езде—сплетения.
Теней—вокруг—нарастание.
Средостений—вмиг—возрастание.
Зелени—вдруг—прорастание.
Из почвы—сквозь синеву.
Из синевы—сквозь время.
Во сне ли? Нет, наяву.
Сквозь явь. За семенем семя.

Дикое, вечнозелёное, вихрем страстей опалённое, грозное, неутолённое буйство. Извечное действо.

Геройство—считай, мифическое. Беспокойство. Свойство—лирическое, а может быть, и космическое—жить вопреки злодейству.

Торжество зелёного цвета. Вполне вероятно—блаженство. Шаг всего лишь—до совершенства. Почему бы, скажите, и нет?

Волшебство. Цыганщина. Воля. С песней таборной. То ли доля, то ли боль. Дизезы, бемоли. Звукоряд. Вопрос и ответ.

Оттенков перетеканье друг в дружку, словно в считалке. Переключка тонов, а за ними—всех возможных полутонов.

Игра повальная—в жмурки? Чьи там видны фигурки? Декорации—для миракля? Он—доселе—и стар, и нов.

Иглица. Иглы сестрица?

Вязальная тонкая спица?

Вздогнувшая ресница?

По-татарски—сич-аутекен.

Инъекции соков и запахов—куда-то во вздутую вену расплескавшегося прибора, куда-то в артерию сонную разомлевшего побережья, в пульсирующую внизу и вверху и от глаз ускользающую смутно-синюю жилку шоссе.

Земляничное дерево. Или—вспоминаем—кизил-агач.

Земляничным полянам—лукавый, по-восточному, томный прищур от ветвящихся тёзок, и только.

На открытках и снимках—наискось—каллиграфически чётким, школьным, знакомым почерком надпись: «Привет из Крыма!»

Критский ладанник. Надо же—критский!

Афродите—крымский поклон.

В пояс. Вдруг да возникнет—из пены.

И не критской вовсе, но—крымской.

Чёрт от ладана встарь—убегал.

Помогла, видать, поговорка.

То-то было монастырей и церковей—в оны годы—по склонам, на плато, на скалах, в пещерах, на высоких мысах над морем, наверху, в недоступных местах!

И на тех же местах—ещё раньше—то-то было древних святилищ!

А потом, втихаря, чертовщина развелась—и стала напастью.

Знать, была на это причина.

Чёрт—он дружен с бесовской властью.

От напасти до власти—шаг.

А от власти до вести—миг.

Сколько видано было—благ!

Сколько читано было—книг!

Сколько пройдено было—зол!

Сколько дадено было—сил!

То-то встал на заре—и шёл.

Сколько найдено—рудных жил!

Кожей чувствуешь: здесь причал.

Кораблями заполнен порт.

Связью давнею—всех начал.

Кровью жаркой—из всех аорт.

Кто тебя провожал, скажи?

Кто встречал тебя—и когда?

Где вчерашние рубежи?

Где сегодняшняя звезда?

Здесь найдёшь её—сам, потом.

Здесь приют обретёшь и кров.

И стоишь ты с открытым ртом.

И не надобно лишних слов.

Как же здесь, посреди красот, что встают на пути повсюду, не смутиться? И что спасёт в этом случае? Только чудо.

Не тушуйся! Чудес—не счесть. И любое—помочь готово.

Но такое меж ними есть, что сердечного жаждет зова.

Гумилёва спроси. Он—знал, что за этим грядёт призывом.

Если шёл и кого-то звал—будь отважным и стань счастливым.

Разобраться бы—что к чему.

Что с душой? И цело ли тело?

Что замечу? И что пойму?

Изумлению нет предела.

Да к тому же ещё—соблазны.

Что ни шаг—сплошные кулисы.

Плющ, растущий лавинообразно.
Вертикалями — кипарисы.

Лавры. Ими округа увенчана.
Мавры с пляжей, ищите женщину!
С танцплощадки — песня: «Рамона!...»
Меж танцующих — Дездемона.
То гитары, то кастаньеты.
Заждалась Ромео — Джульетта.
Всё для Золушки — принц ли, фея ли.
Ну а лилия — для Офелии.

Для Феллини — Джульетта Мазина.
Музе, ангелу — роз корзина.
Крымских роз. Таврических роз.
Гроздь к ним — с виноградных лоз.
Грозы к ним — и обратно к нам:
видно, знают — по именам.

Флейта. Скрипка. С тропы — гурьба.
И — серебряная труба.
Две гитары. Тромбон. Саксофон.
И — трофейный аккордеон.

Карнавал? Или — просто так?
Звук в пространстве. Времени знак.
Символ веры? Молодость? Юг?
Лавры, лавры. Лавры вокруг.

Брег Таврический.
Благ — не зря.
Круг магический.
Брезг. Заря.

Лавровые деревья.
Лавровые кусты.
В детство ль не впасть? Кочевья.
Пропасти и мосты.

За стёклами очков, за взмахами ресничными —
встаёт сейтум-агач, дерево масличное.

Надписью лапидарною, чтоб число позабыть ка-
лендарное и не вспомнить его, хоть плачь, — дерево
скипидарное — тарак, саккис-агач.

И, конечно, жасмин.

Жасмин, из полутьмы, из темноты, из всяких за-
кутков, порой — из мрака, порой — стеной пахучей
вдоль аллей, мерцающий воздушными цветами,
дымящийся, туманящийся, пряный, томительный,
волнующий, в слезах, в дожде, в росе, к себе приво-
роживший — да так давно, что, кажется, всегда над
сердцем были властны эти чары — и ночь цвела, и
прямо с пылу с жару звала к себе прохладная вода.

Можжевательник — ардиш-агач.
Он стоек, живуч, можжевательник.
Иногда он — пустынный, отшельник.

А нередко — и вместе с такими же, как и сам он,
живучими, стойкими, собратьями, зеленеющими

под синими небесами, растёт себе на приволье, по
склонам холмов, и в предгорьях, и ниже растёт, и
выше, — везде, где ему хорошо.

В Чувашии мне говорили, что высоко, на вер-
шине можжевательника, к небу поближе, любят
орлы отдыхать.

Но в Крыму я такого не видел. Возможно, ещё
увиджу.

Люблю можжевательник. Люблю.

Отец мой в былые годы в своём саду криворож-
ском посадил можжевательник — и он прижился, в
рост устремился, окрепнул, — и вот зеленеет зве-
нящей под ветром кроной, и ягоды колокольцами
позванивают на нём, —

и звон этот слышу я в своём саду коктейль-
ском, где, может быть, тоже однажды и я посажу
можжевательник, чтоб он прижился, окрепнул, раз-
росся — и, зеленея, тихонько звенел под ветром — и
я об отце вспоминал.

Растений многообразие.

Многозвучие их названий.

Всё здесь рядом. Ворота — в Азию.

И — в Европу. Не без оснований.

Север с югом. Запад с востоком.

Что ни шаг, то сплошное: где ты?

Смотрит Африка чёрным оком.

И в Америке песни спеты.

Авраамово дерево. Имя говорит само за себя.

Надо же! — Авраам.

Ветхозаветный вздох.

Воздух над ним — как выдох: эх! — отряхни,
старина, древний библейский прах с грустных
ветвей! Не хочет.

Ствол его твёрд, упрям.

Надо же! — Авраам.

Но в Крыму это дерево раньше называли —
аргундее.

Сумах — сума. Что за сума и чья висела на тебе?
Пастушья, может?

И — заманиха. Ну а ты кого к себе заманивала?
Ну-ка признавайся!

И — держи-дерево. А ты кого держало? Другое
имя у тебя — кара-текен.

А вот и чашковое дерево. Но вовсе нам не до
чашек, если мы твоё название вдруг узнаём — и от-
ступаем поскорее подальше от тебя, шайтан-текен.

А ежевика, ежевика!

Такие заросли — и вдоль оград, и где-то там, за
огородами, в лесу, сцепленья лоз, — и ягоды темне-
ют — и так идёт им их название — бурульчен! — вот
бурульчен — и всё тут, не бирюльки, — срываешь,
пробуешь — поспела ежевика!

Шиповник. Что за имя! — ит-бурун.

И тут же, второю, другое — кирниче.

Шурум-бурум, сорвавшийся со струн.
С отметиной кровавой на плече.
Дворец колючий. Зарослей орда.
Багряные походные шатры.
В котлах кипящих вязкая бурда.
Кочевий не погасшие костры.

А травы! Каперсы — длиннющими плетями — привычно укрепившись, распластавшись, — всё под уклон да под уклон, — чтоб озадачить неожиданным именем своим: шайтан-арбус!

И — молочай. Ни молока, ни чаю. Но вот растёт себе под солнышком как есть.

А тут ещё и невидаль! Представьте, бывают — бешеные огурцы. Они — стреляют, и довольно

громко. Наступишь на него — и вдруг: бабах! Людей пугают. С непривычки можно и растеряться, хоть потом соображаешь: да это же растение такое! Всего-то-навсего. А всё-таки — стреляют огурчики. Совсем с ума сошли!

Каскады дрока всюду. Он — испанский.
Но — крымским стал. Освоился. Привык.
Табак. Он тоже — крымский. С ним всё ясно.
И виноград. Ну, с ним — ясней всего.

Всё естество и таинство сплошное.
Земное племя. С песней — и трудом.
Всё волшебство и празднество живое.
Прибрежный рай. В аду бесчасья — дом.